

A black and white photograph of a man with a beard, wearing a dark jacket, looking up at a large, flowering tree. The tree is covered in many small, light-colored blossoms. The background is slightly blurred, showing more foliage.

Илья  
РЕПИН

*Далекое близкое*

АЗБУКА-КЛАССИКА  
NON-FICTION

Азбука-Классика. Non-Fiction

Илья Репин

**Далекое близкое**

«Азбука-Аттикус»

2019

УДК 75  
ББК 85.14

**Репин И. Е.**

Далекое близкое / И. Е. Репин — «Азбука-Аттикус»,  
2019 — (Азбука-Классика. Non-Fiction)

ISBN 978-5-389-16374-4

«Обласканный, прославленный, принятый с таким большим почетом, что даже совесть беспокоится о незаслуженности всей этой чести, я выпускаю книгу своих писаний пером... Предлагаю воспоминания о самых интересных минутах моей жизни. Мы их не ценим... даже стыдимся и замалчиваем. Я набрасываю о них эскизы...» Илья Ефимович Репин обладал незаурядным литературным даром. «Далекое близкое» – книга воспоминаний о жизни, коллегах и современниках, составленная и подготовленная к печати в 1915 году, но опубликованная впервые уже после смерти автора в 1937-м, выдержала более десятка переизданий и была переведена на многие иностранные языки. «Это чудо что такое!.. Вот как надо писать... И какое счастье за всех, для кого навсегда останутся эти ваши „Записки“, глубокая страница из русской истории», – отозвался критик Владимир Стасов на первую публикацию статьи Репина о Крамском в 1892 году. Написанные удивительно ярким, выразительным, пластичным и живым языком, мемуары художника и теперь, более века спустя, неизменно заслуживают восторженные отзывы читателей.

УДК 75  
ББК 85.14

ISBN 978-5-389-16374-4

© Репин И. Е., 2019  
© Азбука-Аттикус, 2019

# Содержание

Впечатления детства	7
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# **Илья Репин**

## **Далекое близкое**

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019  
Издательство АЗБУКА®

\*\*\*

Илья Ефимович Репин (1844–1930) – выдающийся русский художник, ключевая фигура русской реалистической живописи, педагог и мемуарист.



## Впечатления детства 1844–1854

### I

#### Объезд диких лошадей. – Калмык

В украинском военном поселении, в городе Чугуеве, в пригородной слободе Осиновке, на улице Калмыцкой, наш дом считался богатым. Хлебопашеством Репины не занимались, а состояли на положении торговцев и промышленников. У нас был постоянный двор.

Домом правила бабушка. Широко замотанная черным платком, из-под которого виден был только бледный крупный нос, она с раннего утра уже ворчала и бранилась с работниками и работницами, переворачивая кадки и громадные чугуны, проветривавшиеся на дворе.

Кругом большого светлого двора громоздились сараи, заставленные лошадьми и телегами заезжего люда. Повсюду стояла грязь, коричневые лужи и кучи навоза.

Днем широкие ворота на Калмыцкую улицу оставались открытыми, и через них поминутно въезжали и выезжали чужие, проезжие люди. Становились как попало на дворе или в сараях и хозяйничали у своих телег: подпирали их дугами, снимали и подмазывали дегтем колеса черными квачами<sup>1</sup> из мазниц. Лошади с грубой дерзостью таскали из рептухов<sup>2</sup> сено, большая часть его падала им под ноги, в навоз, затаптывалась.

Отец мой, билетный солдат, с дядей Иваней занимались торговлей лошадьми и в хозяйство не мешались.

Каждую весну они отправлялись в «Донщину» и приводили оттуда табун диких лошадей.

На месте, в степях, у богатых донских казаков-атаманов, лошади плодились круглый год на подножном корму и потому стоили дешево (три-пять рублей за голову), но пригнать из-за трехсот верст верхом и объездить дикую лошадь составляло серьезное и трудное дело. Отец говорил:

– Тут без помощи калмыков ничего не выйдет, одно несчастье!

Дядя Ивана, вечно на коне, в шапке-кучме (папахе), был черен, как черкес, и ездил не хуже их, но калмыкам удивлялся и он. Калмык с лошадыю – одна душа. Опрометью бросившись на лошадь, вдруг он гикнет на табун так зычно, что у лошадей ушки на макушке и они с дрожью замрут, ждут его взмаха нагайкой, в конце которой в ремне вшита пуля. Одним ударом такой нагайки можно убить человека.

У нас на Руси широки столбовые дороги, есть где табуну пастись на даровой траве и отдохнуть всю ночь. Но боже упаси заснуть погонщику близ яровых хлебов! Дикие кони тихой иноходью – уже там, в овсах, и выбивают косяк чужого хлеба.

Проснулись хохлы-сторожа, с дубинами и кольями бегут загонять табун... Поди выкупай! Калмык убил бы себя нагайкой в лоб за такую оплошность. Привязанный к его ноге горбоносый донец заржет вовремя и так дернет крепко спящего хозяина, таща его по кочкам к табуну, что только мертвец не проснется. Как лошадиный хвост от комаров, калмык взмахнется на своего поджарого и так зычно гикнет на лету на лошадей, что самому ему останется только исчезнуть

---

<sup>1</sup> Квач – самодельный помазок для дегтя из тряпки, намотанной на конец палки. (Здесь и далее, если не указано иное, примечания редактора).

<sup>2</sup> Рептух – холщовый мешок, служащий походной кормушкой для лошадей.

в облаке черноземной пыли, взбитой табуном. А хохлы с дубинами долго еще стоят, разинув рот... Наконец перекрестятся:

– Оце, мабудь, сам чортяка! А хай йому біс!.. Нечиста сила!<sup>3</sup>

В углу нашего двора были широкие ворота на пустошь, которая оканчивалась кручей к Донцу, заваленной целыми горами лошадиного навоза. Что было бы здесь, если бы в половодье Донец не уносил своим течением всего этого «золота» вместе с обвалившимися берегами кручи! Посредине пустоши был врыт крепкий столб. Сюда загоняли табун и здесь начинали учить диких лошадей житейской добродетели в оглоблях и седле.

При малейшем беспокойстве лошади неслись в какой-нибудь угол пустоши и там сбивались в каре. Дружно, головами вместе, они начинали так энергично давать козелки задними ногами, что комки земли и навоза далеко отлетали в лица подходящим. С косыми огненными взглядами и грозным храпом, степняки казались чудовищами, к ним невозможно было подступить – убьют!

Но у калмыка аркан уже методически свернут кольцами. И вот веревка змейкой полетела к намеченной голове, по шее скатилась до надлежащего места, и чудовище в петле. Длинный аркан привязывают к столбу и начинают полегоньку отделять дикую от общества, подтягивая ее к центру двора. Любезностями на конском языке междометий ее стараются успокоить, обласкать! Но чем ближе притягивают ее к столбу, тем бешенее становятся ее дикие прыжки и тем энергичнее старается она оборвать веревку: то подскакивает на дыбы, то подбрасывает задними копытами в воздухе. И кажется, что из раздутых красных ноздрей она фыркает огнем.

До столба осталось уже не больше сажени. Конь в последний раз взвился особенно высоко на дыбы, и, когда он стал опускаться, калмык вдруг бросился ему прямо в объятия, повис на шее и, извернувшись, в один миг уже сидел на его хребте. Тогда с обеих сторон схватились за гриву наши работники, повисли на ней и стали подбивать в чувствительные места под передние ноги. Лошадь пала на колени, и голова ее очутилась во власти третьего работника: он захватил ее верхнюю губу, зажал и, завязав между особо приспособленными деревяшками, начал ее закручивать. Оскалились длинные белые зубы, открылись десны, и лошадь оцепенела от боли и насилия. Ей наложили на спину седло, продели под живот подпруги, затянули крепко пряжки, а калмык уже разбирает казацкие стремяна, сидя на высоком седле. Несут и уздечку, продели между зубов удила (трэнзель), чтобы лошадь не закусилась...

– Отвяжите аркан! – командует калмык пересохшим голосом.

Аркан сняли с потемневшей шеи, и работники мигом отскочили в разные стороны. Лошадь уже лежала под калмыком, тяжело дыша.

Калмык взмахнул в воздухе нагайкой, и конь подскочил, встряхнулся.

И вдруг стал извиваться змеей и метаться в разные стороны, стараясь стряхнуть с себя седока; и опять начались дикие прыжки, взвивание на дыбы и козелки, чтобы сбросить непривычную тяжесть.

Калмык крепко зажал коня икрами в шенкеля и повернул его к воротам. «Отворять ворота!» – визжит калмык. Нагайка свистнула, и конь мгновенно получил с одного маху по удару с обеих сторон по крупу. Он прыгнул вперед и понесся в ворота. Калмык гикнул на всю улицу, эхо отозвалось в лесу за Донцом. Пешеходы отскочили в испуге, бабы стали креститься, дети весело завизжали. Калмык стрелой понесся по большой дороге мимо кузниц, за Донец... Скоро и след его простыл, только столб пыли висит еще в воздухе...

Часа через четыре никто не узнал бы возвращавшегося к нашим воротам калмыка. Лошадь плелась пошатываясь, опустив мокрую голову с прилипшей к шее гривой; она была совсем темная. Калмык сидел спокойно и сосал свою коротенькую трубочку, подняв плоское лицо кверху; глаза его, «прорезанные осокой», казалось, спали.

---

<sup>3</sup> Это, наверное, сам черт! А бес с ним!.. Нечистая сила! (укр.)



Хорошо обошлась школа, добрый конь будет.

Но не всегда объездка проходила так удачно. Однажды калмык не «спапашился» и, кинувшись на шею взвившейся на дыбы лошади, угодил лицом на переднее копыто. Широкое лицо его мигом залилось кровью, но калмык не опешил: отплевываясь собственной кровью, он умело барахтался между ногами лошади, и привычно пролез на спину коня, и уселся верхом как следует, но в каком виде!.. Лошадь, очевидно, была бешеная, движения ее были сумасшедшие и сбивали с толку опытного калмыка. Застыв на минуту под всадником, дикое животное вдруг выкинуло такой зигзаг, что всадник едва не слетел и удержался только за гриву, а лошадь с размаху рухнула к столбу... Внутри у нее что-то лопнуло, горлом хлынула алая кровь, и она пала. Кстати, и калмыку необходимо было слезть и сделать себе перевязку: через нос и скулу у него шла глубокая рана и сочилась черной кровью.

При этой оказии я, бросившись в сторону, упал лицом в землю и набрал себе полон рот песку. Гришка Копьев, наш работник, взял меня на руки, своей корявой рукой вытер мне лицо и пальцем вычистил песок из моего рта. И его рыжая веснушчатая рука, и сам он мне очень нравились. Мне так было весело и спокойно сидеть у него на руках и смотреть на все свысока! Я близко разглядывал его рыжую бородку, скобку волос и широкую скулу. Но на зубах у меня еще трещала земля.

Гришку я любил; он ездил верхом не хуже калмыка и нисколько не боялся лошадей. Раз на вороном жеребце – того на цепях выводили, – когда конь поднялся на дыбы, Гришка так огрел его кулаком между ушей, что жеребец даже на передние ноги сел... Я бывал счастлив, когда Гришка брал меня верхом на водопой. Сажу я перед ним на холке коня и замираю от ужаса, когда конь идет в глубокую бездну воды: бездонная пропасть казалась мне ужасной. Облака! Но вот на дне облака заколыхались, лошадь стала бить ногой по воде. Кругом запенилось. Как весело! Брызги летят до самого лица – приятно, и страх провалиться вниз, в облака, прошел.

Когда табун угоняли на ярмарку, чумаки на этой пустоши варили себе кашу, и тут же лежали их волы, пережевывая жвачку и тяжело дыша.

Нам, детям, очень нравилось смотреть на их котелок, висающий на кольях, в треугольнике, когда под ним так весело горит огонек и стелется к Донцу голубой дымок. Лица у чумаков так черны, что даже огонек их не освещает; и рубахи их и «штаны» вымазаны дегтем. «От так здоровіше»<sup>4</sup>, – говорили они. И руки коричневые, только ногти да зубы белые.

Мы с сестрой Устей долго их боялись и не подходили близко, хотя бегали около, играя в коня. Я держал веревочку в зубах и старался прыгать, как дикая лошадь. Устя была за кучера.

Видим, один чумака ласково улыбнулся белыми зубами и протянул нам хорошую светлую веревочку. Я взял ее в зубы вместо своей, она была очень вкусна – совсем тарань, соленая. Они везли тарань из Крыма.

– Вы это сами кашу себе варите? – спросила Устя. – Разве вы умеете?

– А хибя ж! Оце... Та й дурень кашу зварить, як пшено та сало<sup>5</sup>.

И чумака дал нам попробовать горячей, дымящейся каши из огромной деревянной ложки, отвязав ее от пояса.

– Ай как вкусно! – сказала Устя. – Попробуй!

Я едва достал из глубокой ложки и хотел уже пальцами доставать остатки – так вкусно! Чудо!

– А пострівай, хлопче, я тобі ще зачерпну<sup>6</sup>.

Я обжигался, но не мог оторваться...

---

<sup>4</sup> «Вот так здоровей» (укр.).

<sup>5</sup> А как же! Это... Дак и дурак кашу сварит, когда есть пшено и сало (укр.).

<sup>6</sup> Подожди-ка, парень, я тебе еще зачерпну (укр.).

Днем, укрываясь от солнца, чумаки лежали под телегой с таранью, среди двора, и ели чухоню – огромную светлую соленую рыбу. Заверотив книзу чешуйчатую кожу, чумаки с наслаждением смаковали ее понемногу, прикусывая черный хлеб громадными кусками.

– А разве чухоня вкусная? – спросила Устя.

Я стоял за ее спиной и удивлялся ее смелости.

– Эге ж! Та як чухоня гарна, та хліб м'який, так геть таки хунтова<sup>7</sup>.

Фунтовой рыбой назывались осетрина, белуга, севрюга, продававшиеся по фунтам. Тарань продавалась вязанками, а чухоня – поштучно.

## II

### Военное поселение

Некоторые пишущие о художниках называли меня казаком – много чести. Я родился военным поселенцем украинского военного поселения. Это звание очень презренное: ниже поселенцев считались разве еще крепостные. О чугуевских казаках я только слышал от дедов и бабок. И рассказы-то все были уже о последних днях нашего казачества. Казаков перестроили в военных поселенцев.

О введении военного поселения бабушка Егупьевна рассказывала часто, вспоминая, как казаки наши выступили в поход прогонять «хранцуза» «аж до самого Парижа», как казаки брали Париж и уже везли домой оттуда кто «микидом», кто «мусиндиле» и шелку на платья своим хозяевам.

А на русской границе – хлоп! как обухом по лбу! – их поздравили уланами. Уланам назначили новых начальников, ввели солдатскую муштру. Пока казаков не было дома, их казацкие обиходы в Чугуеве все были переделаны. Часто рассказывала бабушка о начале военного поселения – как узнала она от соседки Кончихи, что город весь с ночи обложен был солдатами. «Верно, опять хранцуз победил, – догадывались казаки, – и наступает на Чугуев. Хранцуз дурак. Сказали вить ему, что чугуновый город, а у нас одни плетни были. Смех!»

Бабы напекли блинов и понесли своим защитникам-солдатушкам: «Может, и наших в походе кто покормит». Но солдаты грубо прогнали их: «Подите прочь, бабы! Мы воевать пришли. Начальство, вишь, приказало не допускать: казачки могут отраву принести».

В недоумении стали мирные жители собираться кучками, чтобы разгадать: солдат сказал, что и «город сожгут, если будете бунтовать». Стояли мирно, озабоченные, и толковали: «Вот оказия!»

К толкующим растерянным простакам быстро налетали пришлые полицейские и патрули солдат, требовали выдачи бунтовщиков. Большинство робко пятилось. Но казаки – народ вольный, военный, виды видали, а полиции еще не знали.

– Каки таки бунтовщики? Мы вольные казаки, а ты что за спрос?

– Не тыкай – видишь, меня царь пуговицами потыкал. Взять его, это бунтовщик!

Смельчаков хватали, пытали, но так как им оговаривать было некого, то и засекали до смерти.

Такого еще не бывало... Уныние, страхи пошли. Но местами стали и бунтовать. Бойкие мужики часто рассказывали о бунтах, захлебываясь от задору. Особенно отличалась Балаклея, а за нею Шебелинка. Казачество селилось на возвышенностях; и Чугуев наш стоит на горе, спускаясь кручами к Донцу, и Шебелинка вся на горе. Шебелинцы загородились телегами,

---

<sup>7</sup> А то! Да ежели хорошая чухоня и мягкий хлеб, куда той фунтовой.

санями, сохами, боровами и стали пускать с разгону колесами в артиллерию и кавалерию, подступившую снизу.

– А-а! Гроби его колесом по поясице! – кричали с горы расходившиеся удалыцы. – Не могём семисотную команду кормить!

Развивая скорость по ровной дороге, колеса одно за другим врезывались о передние ряды войска и расстраивали образцовых аракеевцев. Полковник скомандовал:

– Выстрелить для острастки холостыми!

Куда! Только раззадорились храбрецы.

– Не бере ваша подлая крупа – за нас Бог! Мы заговор знаем от ваших пуль. Не дошкулишь!

Но когда картечь уложила одну-две дороги людьми, поднялся вой... отчаяние... И – горе побежденным... Началось засекание до смерти и все прелести восточных завоевателей...

Отец мой уже служил рядовым в Чугуевском уланском полку, а я родился военным поселенином и с 1848 по 1857 год был живым свидетелем этого казенного крепостничества. Началось с того, что вольных казаков организовали в рабочие команды и стали выгонять на работы.

Прежде всего строили фахверковые казармы для солдат. Нашлось тут дело и бабам, и девушкам, и подросткам. Для постройки хозяйственным способом из кирпича целого города Чугуева основались громадные кирпичные заводы. Глины кругом сколько угодно, руки даровые – дело пошло быстро.

Из прежних вольных, случайных, кривых чугуевских переулков, утопавших во фруктовых садах, планировались правильные широкие улицы, вырубались фруктовые деревья и виноградники, замащивались булыжником мостовые циклопической кладки – Никитинской и широкой Дворянской улиц.

Бабы по ночам выли и причитали по своим родным уголкам, отходившим под казенные постройки, квартиры начальству, деловые дворы, рабочие роты и воловы парки.

Я увидел свет в поселении, уже вполне отстроенном; я любовался уже и генеральными смотрами «хозяевам» и «нехозяевам», производимыми графом Никитиным.

На Никитинской, Дворянской и Харьковской улицах каменные хатки для хозяев были как одна. Выстроены, выкрашены *al fresco*<sup>8</sup> наличниками; и так они были похожи одна на другую, что даже голуби ошибались и залетали в чужие дворы. Залинейные домики для «нехозяев» были бревенчатые и столь же однообразные, как и хозяйские на линии.

Инспектор резервной кавалерии граф Никитин был высокий, костистый, сутуловатый старик. Окруженный своим штабом, он стоял на крыльце Никитинского дворца, а перед ним дефилировали «хозяева» города Чугуева и пригородных слобод: Калмыцкой, Смыколки, Зачуговки, Пристена, Осинówki и Башкировка.

Мы, мальчишки, взбирались на пирамидальные тополя, росшие на плацу, чтобы лучше видеть и графа Никитина, и проходившее перед ним военное пахарство. И кругом плаца, и далеко по Никитинской улице уходили вдаль серые группы запряженных телег с торчащими дреколями и сошниками, блестящими на солнце.

Разумеется, в первые очереди ставили зажиточных хозяев, с новой сбруей на добрых лошадях, с прочными земледельческими орудиями. Мы знали всех.

Вот тронулись Пушкарёвы. Отец сидит на передке в форменной серой арестантской фуражке, в серой свитке (армяке); лицо бледное, злое (наряда своего не любят поселяне; в сундуках у них лежали свитки тонкого синего сукна, и в церковь они шли одетые не хуже мещан). На задке у Пушкарёва, «нехозяином» по форме, сидит Сашка Намрин – бобыль. Лентяй, я его знаю: он у нас в работниках жил (лошадей боялся); осклабил на нас своими деснами, и выбитый зуб виден. Пара лошадей – сытые, играют, борова новая, спицы толстые, багры длин-

---

<sup>8</sup> *Al fresco* – в технике фрески (*um.*) – живописи по сырой штукатурке.

ные, струганные, вилы, косы, молотильные цепы, все по форме, все прилажено ловко и крепко; сошники у сохи длинные, не обтерухи какие, весело блестят.

Сашка корчит из себя заправского солдата; серый армяк у него аккуратно сложен, как солдатская амуниция, пристегнут через плечо, серая фуражка: арестант – две капли воды.

Поравнялись, им скомандовали что-то с балкона – затарахтели рысью.

За ними едут Костромитины. Старик Костромитин осунулся в воротник, глаза, как у волка, из-под нависших бровей; вожжи подобрал, пристяжная играет.

– Молодец Костромитин! – мямлит ласково граф Никитин. – Рысцой с Богом!

Загрехотали и эти, блестят толстыми шинами колеса.

Проехали Воскобойниковы на пегих – тоже хорошо. Вот и Заховаевы, староверы. Заховаев – хозяин добрый. Всю семью свою любит, даже на улице детей своих целует. И теперь веселый, красивый; черная окладистая борода. Тройка гнедых – сытая, кнута не пробовала. На облучке сзади Локтюшка с козлиной бородкой; этому далеко до солдата.

Проезжают, проезжают – сколько их!.. Переродовы, Субочевы, Бродниковы, Раздорские... Всех не переименовать.

А вот Юдины. Эти – бедные, они недалеко от нас живут: лошаденки тощие, маленькие, сбруя веревочная, все снаряды рвань и дрянь... Так. Его записывают: разжалуют его в «нехозяева»... Они лентяи: когда ни заглянешь к ним, всегда лежат на печке; наша работница Доняшка говорила, что с горя «взяться им не за что». А вот и Ганусов! «Калмык дикий», и его прозвание – лютый; он да Зорины из калмыков, говорят, крестились; хозяева они зажиточные, всего доволь.

Граф Никитин добрый: он не велел нас, мальчишек, прогонять с тополя, а под нашими ногами, против его дворца, много зрителей – всё мещане и торговцы. Поселяне ненавидят эти смотры, и никто из родственников не пойдет смотреть на позор своих, которых нарядили арестантами напоказ всему миру: гадко смотреть.

За нарядами поселян начальство смотрело строго: поселянки не смели носить шелку. Раз на улице, в праздник, ефрейтор Середа при всех сорвал шелковый платок с головы Ольги Костромитиной – девки из богатого дома – и на соседнем дворе Байрана изрубил его топором.

Девки разбежались с визгом по хатам; улица опустела. Мужики долго стояли истуканами. И только когда Середа скрылся, стали всё громче ворчать: «Что это? Зачем же этакое добро нівечить?<sup>9</sup> Надо жаловаться на него. Да кому? Ведь это начальство приказало, чтобы поселянки не смели щеголять. Шелка, вишь, для господ только делаются!»

Если бы вы видели, какой противный был Середа: глаза впалые, злые, нос закорюкой ложится на усища, торчащие вперед. Мальчишки его ненавидят и дразнят: «руль». Вот он бесится, когда услышит! Раз он за Дудырем страшно гонялся с палкой. Кричит: «Я тее внистожу!» Дудырь кубарем слетел под кручу к Донцу, а Середа сверху бегаёт и бросает в мальчишку камнями. «Я тее внистожу!» – повторяет как бешеный, а сам страшный!

Досталось и ему однажды, но об этом после.

Несмотря на бесправную униженность, поселяне наши были народ самомнительный, гордый.

На всякий вопрос они отвечали возражением.

– Вы что за люди? – спрашивают чугуевцев, когда их подводы целыми вереницами въезжают в Харьков на ярмарку.

– Мы не люди, мы чугуевцы.

– Какой товар везете?

– Мы – не товар, мы – железо.

---

<sup>9</sup> *Нівечить* – портить (укр.).

На улице каждого проходящего клеймили они едкими кличками. Всякий обыватель имел свое уличное прозвище, от которого ему становилось стыдно.

Кругом города было несколько богатых и красивых сел малороссиян – народ нежный, добрый, поэтичный, любят жить в довольстве, в цветничках, под вишневыми садовками. Чугуевцы их презирали: «хохол, мазец проклятый» даже за человека не считался.

Пришлых из России ругали кацапами. Тоже, купцы курские...

– Прочь с богами – станем с табаком!

– С чем приехали?

– С бакалейцами: деготек, оселедчики, рожочки...

Своих деревенцев из Гракова, Большой Бабки, Коробочкиной считали круглыми дураками и дразнили «магемами». «Шелудь баевый, магем мыршевой!» – ругали их ни за что ни про что. «Дядя, скажи на мою лошадь „тпру“!» – «А сам что?» – «У меня кроха во рту». – «Положи в шапку». – «Да ня влезя!»

В обиходе между поселянами царила и усиливалась злоба. Ругань соседей не смолкала, часто переходила в драку и даже в целые побоища. Хрипели страшные ругательства, размахивались дюжие кулаки, кровянились ражие рожи. А там пошли в ход и колья. Из дворов бабы с ведрами воды бегут, как на пожар, – разливать водой. А из других ворот – с кольями на выручку родственников. В середине свалки, за толпой, уже слышатся раздирающие визги и отчаянные крики баб. И наконец из толпы выносят изувеченных замертво.

Преступность все возрастала. И чем больше драли поселян, тем больше они лезли на рожон.

Происходили непрерывные экзекуции, и мальчишки весело бегали смотреть на них. Они прекрасно знали все термины и порядки производства наказаний: «Фуктелей!<sup>10</sup> Шпицрутен!<sup>11</sup> Сквозь строй!»

Мальчишки пролезали поближе к строю солдат, чтобы рассмотреть, как человеческое мясо, отскакивая от шпицрутен, падало на землю, как обнажались от мускулов светлые кости ребер и лопаток. Привязанную за руки к ружью жертву донашивали уже на руках до полного количества ударов, назначенных начальством. Но ужасно было потемневшее лицо – почти покойник! Глаза закрыты, и только слабые стоны чуть слышны...

Площадная ругань не смолкала, и не одни грубые ефрейторы и солдаты ругались, – с особой хлесткостью ругались также и представительные поселенные начальники красивым аристократическим тембром.

Начальники часто били подчиненных просто руками, «по мордам».

Только и видишь: вытянувшись в струнку, стоит провинившийся. Начальник его – раз, раз! – по скулам. Смотришь, кровь хлынула изо рта и разлилась по груди, окровавив изящную, чистую, с золотым кольцом, руку начальства.

Скользит недовольство по красивому полному лицу, вынимается тонкий, белоснежный, душистый платок, и вытирается черная кровь.

– Ракалья!.. Розог! – крикнет он вдруг, рассердившись.

Быстро несут розги, расстегивают жертву, кладут, и начинается порка со свистом...

– Ваше благородие, помилуйте! Ваше благородие, помилуйте!..

---

<sup>10</sup> *Фуктель* (фухтель) – плоская сторона клинка холодного оружия. Наказание фуктелями – удары по спине плашмя обнаженным клинком оружия.

<sup>11</sup> *Шпицрутен* – длинный гибкий древесный прут для телесных наказаний.

### III

#### Маменька строит новый дом

Через нашу Калмыцкую улицу шла большая столбовая дорога. Поминутно проезжали мимо нас тройки и пары почтовых с колокольчиками, часто проходили войска, а еще чаще – громадные партии арестантов. Долго тянулась густая толпа страшных людей с полуобритыми головами. Звенели кандалы, и казалось, будто войско идет. Встречались скованные тройными кандалами с висячей цепью или скованные по трое и более вместе. Страшные, полуобритые головы в серых арестантских шапках... Смотрели они исподлобья, как злые разбойники.

Вздыхали стоявшие у калиток и ворот бабы, выносили паляницы<sup>12</sup>, а мужики доставали гроши, копейки, покупали паляницы, бублики тут же, в лавочке, и все это, догнавши, отдавали старшему арестанту впереди отряда. Тот принимал серьезно и почти не благодарил. Вообще поражало в арестантах выражение гордости и злобы. Сколько шло народу!.. Кончалась свора с кандалами – за ними ехали их подводы, на телегах сидели и лежали больные, бабы и дети...

Маменька со своей двоюродной сестрой Палагой Ветчинкиной в каждый годовой и двенадесятый праздник отвозили пироги, булки и бублики в острог и солдатский госпиталь. Уже дня за два перед праздниками пеклись булки и белые паляницы. Заезжала тетка Палага с возом, до половины нагруженным всякими кнышами<sup>13</sup>, калачами и прочей снедью, и маменька с Доняшкой выносили свои запасы и полный воз везли «несчастливым».

Тетка Палага закутывалась большими черными платками, а к самому лицу белой косынкой. Она всегда держала низко голову – лица не было видно. Любила она подолгу сидеть с нашей маменькой запершись, долго на что-то таинственно жаловалась и много плакала. Воз с хлебом без конца стоял у наших ворот, а они все не выходили – горевали в слезах. Кажется, из ее родни кто-то сидел в остроге. Так в слезах и уезжали.

Семья Ветчинкиных была большая, это были хозяева-хлеборобы. Старик – жестокий и буйный во хмелю. Три сына женатых; старшая дочь замужем – приняли во двор за «нехозяина» зятя, а младшая – подросток – глуповатая Наталка. У старших уже были малые дети. И все жили в одном дворе, в двух хатах. Руганью да палкой старик держал всю семью в страхе и покорности. Но чуть он отлучался на работы, поднимался целый ад ссор и брани, до драк. Заводили всегда бабы и дети с пустяков. Но от вечного гнета все уже были так злы и раздражены, что только в ругани да потасовках и отводили душу. А потом росла месть... И так без конца.

Старший сын, Никифор, огромного роста, был глуп как бревно.

Раз, помню, у нас были гости; Никифор Ветчинкин выпил и развеселился вместе со всеми. Когда все уже были навеселе, то, как водится, стали петь песни; вдруг как заревел Никифор свою песню, так все даже испугались. А он, уже ничего не видя, ревел свое:

Пошла баба по селу  
Добывать киселю;  
Не добыла киселю,  
А добыла овсу.

---

<sup>12</sup> *Паляница* – украинский хлеб из пшеничной муки.

<sup>13</sup> *Кныш* – украинский круглый пирожок с запеченной внутри (или уложенной на поверхности, между приподнятыми краями) начинкой.

И страшно, и смешно; мы поскорей залезли на печку и там хохотали с ужасом.

Молодайка Арина, его жена, засовестилась и хотела было его остановить. Так он так рас-свирепел!

– Отойди! Убью! Не мешай! Что! Смеются? Кто смеется? Эти пострелята? Я их одним кулаком убью!

Он так подымал кулаки и хотел что-нибудь разбить – вся хата дрожала.

Настя, красивая, с тонкими бровями и черными глазами, покраснела и не знала, что делать со стыда. Маменька подошла быстро к Никифору:

– Что вы? Кто смеет обижать и останавливать моего Никиту? Пой, Никита, пой! Ну, начинай сначала, мы будем тебе подтягивать.

Он глупо улыбнулся и протянул огромную ладонь к маменьке:

– А, тетка Степановна! Вот кого люблю, вот! Дай ручку поцеловать... То есть больше матери люблю. Потому – добра и нашего брата мужика потчует и жалует. А ты что?! – свирепея, обращается он к жене. – Давно тебя не учил?

– Ну-ну, Никита, запевай, будет тебе! – говорит опять маменька.

Пошла баба по селу, —

заревел Никифор опять...

Наша жизнь шла сама по себе: предстояла нам перемена – мы строили себе новый дом.

Чаще и чаще отлучалась маменька на постройку дома. И наконец перед нашей хатенкой, во дворе у бабушки, появилась запряженная телега, на которую выносили самые первые и важные вещи для новоселья.

Прежде всего вынесли образа и установили их прочно и безопасно на передке телеги; потом – деревянную чашку, ложку, что-то завернутое и что-то съестное. Нашу трехцветную черную кошку мы держали на руках. Наконец уселись и поехали.

Мы прекрасно знали, что все эти «русские» плотники – такие колдуны! С ними беда: сколько уже магарыча поставлено было! Заложить основание дому – магарыч; взволакивать «матицу»<sup>14</sup> – магарыч; крыть крышу стропилами – опять магарыч. И все это – четвертную бери на всю артель.

Боже избави делать не по-ихнему: они сейчас же «заложат дом на душу» того из семьи, кто им неприятен, и тот помрет. Уж всегда просят их, чтобы закладывали дом на какого-нибудь самого старого деда, которому умереть пора, – тогда уж воля Божья. А то ведь бывало так у других: плотникам не угодят как-нибудь, поссорятся с ними, так они подложат под святой угол колоду карт. Тогда пойдет такая чертовщина, что из своего дома бежать придется: по ночам домовой с нечистой силой такой шум поднимают и таких страхов задают – беда!..

Наша маменька знала верное средство от всякого колдовства плотников. Разумеется, с ними она обходилась очень ласково, и все магарычи были хорошие; плотники оставались довольны и на серьезный вопрос маменьки, на чью душу дом заложили, отвечали очень убедительно:

– Успокойтесь, Степановна, неужто же мы без креста на шее или вами чем обижены! Ведь мы тоже люди и понимаем, с кем и как и что прочее, например... А кошечку, точно, вы знаете сами, привезете вперед и все порядки, звестно, справите по Писанию, ведь вы же не то что мы, деревенщина, – ведь вы как читаете и Священное Писание знаете... Как же можно?

Яков Акимыч, рядчик, был мужик бородатый, веселый, но степенный и богомольный.

Вот мы и едем; по дороге пыль поднимается большими стенами и глаза ест. Далеко-далеко отъехали и еще дальше едем, все по-над Донцом. Вот остановились у нового, высокого,

---

<sup>14</sup> Матица – опорная балка, поддерживающая потолок и крышу дома.



белого дощатого забора. Здесь. Но нам велено сидеть и не слезать с телеги. Кто первый войдет в дом – непременно умрет. Маменька с Доняшкой берут кошку на руки. Какого-то прохожего просят поставить внутри на середину дома чашку со съестным (посторонний не умрет, ничего ему не будет). Тогда отворяют двери в сенцы, пускают туда кошку и запирают ее в доме одну. Слышим, замяукала – на свою голову.

Снимают с телеги Устю и меня; мы весело влезает на крыльцо – чистое, белое, выструганное. Отворяют двери в сени – можно! Но ставни затворены, темно. Доняшка отворяет ставни. Какие чистые белые полы! Мы начинаем бегать по всем комнатам. Какой огромный дом! Неужели это наш? Как весело!.. На стол в святом углу поставили образа и молитвенник и что-то завернутое.

Прилепили перед образом три восковые желтые свечки, и маменька стала приготовляться читать акафист Пресвятой Богородице. Мы знаем, что это продлится долго и будет очень скучно. Доняшка и Гришка уже стоят за нами. Сначала все положили по три земных поклона и слушали непонятные слова; мы ждали знакомых слов, когда надо было класть земной поклон.

А вот: «Радуйся, невесто невестная!» Мы сразу бултыхнулись к чистому полу. Встали.

Поднявшись, маменька продолжала чтение тем же выразительным голосом, чуть-чуть нараспев. Опять долго. От скуки я оглядываюсь. Вижу, Гришка – уж видно, неуч – быстро и смешно машет рукой, сложенной в щепоть, делает короткие кивки и скоро отбрасывает прядь своей рыжей скобки, сползающей ему на глаза... а в это время следует только смирно стоять, – деревня!

– Аллилуйя!.. – произносит нараспев маменька, и я опять бросаюсь в земной поклон рядом с Устей.

Поднимаемся дружно. Опять длинное чтение. Я оглядываюсь на Доняшку, она крепко прижимает два перста ко лбу. Мы все крестились двуперстным знаменiem, хотя и не были староверы. Но маменька говорила, что креститься щепотью грех: табак нюхают щепотью. И я стал крепко прижимать ко лбу два перста. Кстати раздалось опять: «Радуйся, невесто невестная!» – земной поклон.

Снова долгое чтение. Я оглянулся на Гришку и чуть не прыснул со смеху: он так смешно дремал стоя. При этом еще щепоть на высоте рта как-то дергалась вместе с рукой, которая никак не могла сделать крестное знамение, глаза смешно слипались, а брови поднимались высоко-высоко и морщили лоб, – потешно...

Наконец, к моей радости, маменька пропела «аллилуйя», и я поскорей бултыхнулся, чтобы не смеяться, и продолжаю лежать, уткнувшись в пол, чтобы не заметили. Потом потихоньку – от полу – заглядываю вбок на Устю. Она серьезно сдвинула брови, стоит ровно и смотрит на меня сердито. Я поднимаюсь, оправляюсь...

«Радуйся, невесто невестная!» После должного поклона я боюсь уже оглядываться и решаюсь собрать все силы и ждать конца. Мы знали, что, когда начнут читать «О всепетая мати, рождающая», тогда, значит, скоро конец. Но долго еще чередовались «аллилуйя» и «радуйся, невесто невестная».

Но вот и желанная «всепетая»; вот и конец. Гришка, уже бодрый, принес в цебарке<sup>15</sup> воды с Донца. Большой старинный медный крест и кропило лежали на столе – я их раньше не приметил.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа», – торжественно произносит маменька и троекратно погружает в цебарку крест.

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое!» – запекает маменька, мы все подхватываем и торжественно двигаемся ко всем углам комнат. Маменька кропит и поет

---

<sup>15</sup> Цебарка – ведро (укр.).

хорошо. Гришка фальшивит, страшно спешит и поминутно крестится, отбрасывая скобку от глаз.

Переходим в другую комнату, в третью, и везде-везде – и на пол, и на потолки, и во все окна – маменька кропит святой водою.

Так обошли весь дом. Вернулись опять к образу; здесь все подходили к кресту, и маменька всех нас кропила в затылок. Потекла вода за шею; надо было ото лба святой водой смачивать щеки и все лицо.

После акафиста мы набегались всласть на светлых полах в чисто выбеленных комнатах.

В нашей хатке, на постоялом дворе у бабеньки, нам стало уже скучно, и мы всё приставали к маменьке, чтобы нас опять взяли в новый дом и чтобы нам скорей переезжать туда жить.

#### IV

### Постоялый двор

В большом доме у бабеньки в чистых горницах было очень чисто и богато. Крашенные желтые полы, огромные образа в серебряных ризах с золотыми венцами. В красивом комод за стеклами висели серебряные ложечки, врезанные в дерево. Блестящий гладкий комод с необыкновенной, волнисто изогнутой крышкой особенно поражал меня чистотой, металлической ручкой и золотыми украшениями над дырочками для ключей. Только я не любил страшной картины, висевшей в черной раме на средней стене одной из горниц. Там был намалеван молодой курчавый панич, держащий за волосы громадную мертвую голову с пробитым лбом. Такое страшилище эта голова – синяя-пресиняя, и панич также синий и страшный! Маменька говорила, что это Давид с головой великана Голиафа. Я боялся даже проходить мимо этой картины. Да нас редко и пускали в горницы, разве в праздники, когда мы ходили поздравлять бабеньку.

Через большой коридор мы часто проходили на кухню и здесь иногда видели, как обедают проезжие извозчики.

Бывало, зимой, под вечер, в большой мороз, тетка Мотря, плотно закутанная, с фонарем в руках давно уже поджидает у ворот приезжающих: когда остановится тяжелый обоз воев в двадцать, она подходит ближе и мягко, нараспев зазывает:

– Заезжайте, почтенные, заезжайте!

Остановились. Заиндевелые, тяжело одетые люди приближаются к ней.

– Куда вы поедете дальше на ночь глядя! Сейчас Генеральская гора, пока взобьетесь; а в городе дворы дороже и хуже. У нас, смотрите, какие ворота крепкие, двор большой, сарай просторные. Уж будете довольны, будете покойны. Супец с картофелькой, борщочку достаточно. Заезжайте, купцы, заезжайте, что там раздумывать! Сена пуд и мера овса у нас копеечкой дешевле, чем в городе.

– Что же, Митюха, заезжать, что ль? Аль уж в городе, на горé, ночевать? – говорит старший.

– Да на гору-то сподручнее бы утречком взобраться – крута да и долга, проклятая, я ее помню по спуску. Заезжать так заезжать.

Решают: «Ворочай, робя, в ворота!»

И каждый весело скрипит валенками к своему возу.

Въезжают, не торопясь размещаются под сараями, выпрягают лошадей. Долго берут по весу овес из нашей лавки, сено из сенника с больших весов, набивают рептухи и несут, закладывая лошадям. Убравшись, приходят в кухню.

Тут мы их смотрим: русские, издалека. Говорят, сулу<sup>16</sup> везут в Харьков из Ростова. Русские все больше колдуны, лица красные от мороза, бородатые, чубчики подстрижены – староверы, значит; но есть и молодые.

Разматывают пояса, снимают армяки, кладут все это на нары, на примость. Какая грязь на полу в кухне! Вот еще снегу нанесли, полушубками запахло...

Крестятся на образа и быстро отхватывают короткие поклонники. Заходят за общий стол и подвигаются по общей длинной скамейке плотно один к другому.

Печка в кухне огромная. Сколько там громадных чугунов, горшков!

Кухарка едва вытаскивает рогачом чугунок, наливает уполовником в огромную миску и ставит на деревянный стол без всякой скатерти.

Около каждой миски усаживаются пять человек и большими деревянными ложками черпают, сейчас же подставляя огромную «скибку» черного хлеба под ложку, чтобы не расплескать на стол.

Едят долго. У каждого за щекой огромный кусок хлеба в виде большой круглой шишки наружу; она тает по мере прихлебывания и пережевывания.

Атмосфера разогревается от пара и пота; снимаются кое-кем забытые на шее шарфы, и утираются вспотевшие лбы длинным полотенцем. Полотенце кладется, одно на троих-четверых, на колени.

У всякого общества свои правила приличия, свой этикет. У извозчиков считается неприличным выходить из-за стола, не окончив ужина. А между тем людям, прошедшим по морозу верст двадцать пять – тридцать пешком, разогревшимся от горячей пищи и теплого помещения, а главное, съевшим, не торопясь, такое большое количество жидкой пищи, наступает поочередно неминуемая необходимость выйти на воздух...

В их практике заранее условлено в таких случаях толкнуть товарища локтем. Тот знает, что надо сказать.

– Ахрёмка, в твоём рептухе мерин дырку прорвал, много сена под ноги топчет – ты бы, малый, вышел посмотреть, поправил!

Ахрёмка быстро перелезает через скамейку и идет поспешно к лошадям.

Вернувшись через десять-пятнадцать минут и услышав, как условно кашлянул Никита, он говорит:

– Никита, а Никита? У твоего чалого сена уже почти нет, не пора ли ему повесить торбу?

Никита быстро удаляется, а Ахрёмка садится и продолжает хлебать борщ.

Мы очень хорошо все это знали, выразительно переглядывались и старались не смеяться.

Некоторые молодые извозчики, с ремешками вокруг головы, нам очень нравились своими серьезными лицами.

Когда почти все товарищи осведомились и поправили своих коней, а супцом и борщочком нахлебались до отвала, кухарка вытаскивала огромный кусок вареной говядины из чугуна с борщом, клала его на плоское деревянное блюдо и начинала без всякой вилки кромсать кухонным ножом на куски, придерживая мясо просто засаленной рукой. Разделивши его на куски, она подвигает блюдо поближе к пяти товарищам. Извозчики тянутся руками к мясу, берут куски и, опять подставляя хлеб под кусок, откусывают зубами сочную говядину.

Не торопясь наелись гости досыта; потные красные лица хорошо вытерли рушниками. Встают товарищи чинно, как и в начале стола, молятся на образа большим двуперстным крестом и благодарят хозяйку за хлеб за соль.

Нам все это хорошо знакомо, и мы только следим, все ли правильно сделано, что полагается.

---

<sup>16</sup> Сула – судак.

Только теперь нарушалось молчание и начинались интересные разговоры в ответ на расспросы Гришки и тетки Мотри.

Некоторые снимали валенки, начинали разворачивать онучи и укладывались на нарах. Скоро оттуда раздавался здоровый храп. А другие еще долго беседовали о разных разностях – народ бывалый.

## V

### Новый дом

Как весело было нам в нашем новом доме! Все перевезли, установили. Просторно! Светло! Мне особенно нравился полог над большой кроватью: по кресту до самого потолка висел плющ зелеными листьями – так похоже были покрашены листья, совсем живые. В большой горнице повесили новые образа – хоть и не в ризах, как у бабеньки, но очень хорошие... Сколько окон! И какие большие! Как у бабеньки в горницах: если встать на подоконник, то не достанешь доверху. На некоторых окнах в глиняных горшках стояли цветы: красная герань, фуксия и еще – ну совсем как из воску! – белые цветочки со сладкими капельками по утрам, нежные и прозрачные! Красива также белокрайчатка. Устя поливает цветы каждое утро...

Перед крыльцом, выходящим во двор, стоит у нас большая осина, а за ней высоким бугром поднимается погреб; над погребницей подъем еще выше, так что если взлезть на нее, то через забор увидишь лес за Донцом, – это очень далеко!..

А какой веселый сарай! Я нашел там петушье перо невиданной красоты. Как оно переливается всеми цветами!

Сарай крыт камышом; я выдернул камышину – ну точно пика у улана, с султаном. Я бросал ее по двору: когда уставишь на равновесии – далеко летит, даже страшно. Устя боится.

На одной перекладине в сарае нам повесили качели из веревки; как раскачаются – вся душа захолодет. У нас своя серая коровушка, пузатая-пузатая, на коротеньких ножках... Маменька берет чистенькую новую доенку, долго моет ее теплой водой из печки и идет доить вечером, а днем корова в стаде. В сарае ей подостлали соломы. Вот она легла и как вздохнула! Это она довольна – поила напилась. В поило ей набросали арбузных и дынных корок и всяких остатков.

А какой у нас собачище Разбой – огромный, как волк; все говорят: на волка похож – серый, и голос страшно громкий; все боятся нашего Разбоя.

Маменька все устраивает и покупает новые картины. Вот опять Олэша пришел; он стеклышко и картинками торгует, сам рамки делает и стекло ставит, хохол... Очень весело смотреть, как он показывает картины. Вынет осторожно из пачки и поставит на новый буфетный шкаф со стеклами; держит картину и смотрит на всех, довольными глазами блестит.

– А? Ось картина!.. Яки краски!.. Оце гарні картини. А що, Степановна, не подобаєте? Дюже гарні картини<sup>17</sup>.

Но маменька выбрала без красок – Христос в терновом венце, с тростью в руках, и глаза подняты вверх; а как руки нарисованы!..

– Ах вот, постойте, дайте посмотреть!

Он показал: Мазепу привязывают к лошади польские паны. Вот картина! Я стал просить маменьку, чтобы купила Мазепу. Нет – и дорога, и маменьке совсем не понравилась: голый

---

<sup>17</sup> А? Вот это картина!.. Какие краски!.. Вот это хорошие картины. А что, Степановна, не нравятся? Очень хорошие картины (укр.).

человек... А какие краски были на кафтанах у поляков!.. Какой конь! Чудо! Я так досадовал, что не купили...

Вечеру пришла бабушка Егупьевна и тоже принесла картины. У нее очень страшные. Вот: смерть человека грешного и человека праведного. Конец грешного ужасен: стоят у порога черти, черные, с рогами, хвостатые, и крючьями тянут его за язык, уже на пол-аршина вытянули. Слава богу, что маменька не купила этой картины. Еще – Страшный суд. Опять огромный дьявол в огне сидит. А грешники!.. Только трудно рассмотреть: красной краской очень закрашены...

Скоро Егупьевна начала что-то таинственно рассказывать со слезами маменьке. Она всегда так.

– Еще нашим-то не так, наши все же по закону живут, а эти, Таня, поверишь ли: забитые топоры...

Вечером пришла странница Анята, и маменька стала читать жития святых. Читали про Марка во Фраческой горе. Как он ушел из своего дома и спасался один. Так интересно, так интересно! Я стал думать: «Вот если бы мне уйти также куда-нибудь во Фраческую гору спастись...» Один... мне страшно стало.

Бабушка слушала чтение серьезно; она высокая, к лицу белая косынка, черным платком голова покрыта. А Анята вся в слезах; кажется, ничего не слышит, а только заливается, хлюпает. Отчего же?!

А в другой раз, когда пришла еще слушать чтение Химушка, наша соседка, читали житие преподобного Феофила. Он три сосуда слез наплакал. И картинка: нарисован Феофил с длинной бородой, перед ним высокий большой сосуд, и он его наплакал полный слезами; за спиной еще стоят два сосуда. Вот плакали! И Анята, и Химушка. Химушка все время стояла у дверей, подпершись рукой, и все плакала, плакала...

Когда кончили Феофила, стали читать житие преподобного Нифонта. Очень смешно, как черти старались рассмешить преподобного Нифонта и ездили перед ним верхом на свиньях, – так смешно!.. Но преподобный Нифонт не рассмеялся, а Анята и Химушка и тут все время плакали; я думаю, что Химушка ничего не поняла, но все время стояла у порога и плакала.

– Да сядь-бо, Хима, что ты все стоишь, – сказала ей маменька.

– Ничего, Степановна, о-о-ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие... Читайте-бо, читайте уж...

Маменька читает очень хорошо, ясно. И церковный язык так понятен, а непонятное слово сейчас же объясняет. Такой приятный голос у маменьки!

Я задумал сделаться святым и стал молиться Богу. За сарайчиком, где начинался наш огород, высокий тын отделял двор от улицы – уютное место, никто не видит. И здесь я подолгу молился, глядя на небо.

Мы купались в Донце. Берега глубокие, сейчас же так и тянет, жутко. Круча высокая; много в разных местах вывалено сюда навозу; его все везут в кручу из своих сараев. Какой посклён<sup>18</sup> растет под кручей! кустами! Сладкий, душистый, мускатом пахнет; есть зеленый, и есть темно-лиловый, как виноград. Очень весело бегать под кручей между кустами коровяков: они совсем как орехи большие; в этих колючках весь куст сверху усыпан коровьяками.

Наша улица идет на Гридину гору, наш дом – на углу, а другая улица – к колодцу. Перед нами большая площадь идет к Донцу, до самой солдатской кухни, над кручей Донца; еще далеко, за кухней уже, – круча Донца (теперь саженой на сто уж Донцом унесен берег).

Веселая площадь! Каждый вечер девки тут, собравшись, поют песни, играют в лапту, а мы около бегаем. Очень весело. Жалко вот только, что ведьмы живут недалеко... И как это мы раньше не слышали?.. Никто не сказал... По ночам страшно бывает, особенно когда за Донцом, в Малиновском лесу, волки завоют...

---

<sup>18</sup> *Посклён* – паслен.

Батенька с Гришкой на ярмарку в Ромен уехали и еще не скоро вернутся с лошадьми.

Но уж как вернутся, мы ничего бояться не будем. Гришка им задаст! Вот, проклятые, завелись!

Химушка Крицына знает всех ведьм. Первая – бабка Анисимовна, старая, горбатая, из-под платка только подбородок с волосинками торчит. Она боится грозы: как увидит – заходят тучи, идет в свой садик, берет длинную палку, наворачивает на нее платок и начинает вертеть в воздухе. Вертит, вертит, пока не поднимется ветер. Тогда она навернет на голову платок и ложится в яму, вниз головою, спать – в саду у нее такая яма есть – и спит так, пока не разойдутся тучи.

Химушка говорит: как ночь, она обращается в собаку, берет доенку и идет чужих коров доить. Хоть какой высокий тын – перелезет и выдоит чужую корову.

Наша Доняшка чуть-чуть не застала ее у нас на дворе. Вышла она на заре, еще темно было, видит – большая собака с доенкой в лапе бежит из сарайчика от коровы прямо к перелазу. Доняшка взяла палку да за ней, собака скок через тын... Оглянувшись на Доняшку – и та видит: лицо Анисимовны!.. Страшно стало Доняшке. Вскочила в дом, руки-ноги трясутся.

Но кто бы подумал – Доня Кузовкина тоже, говорят, ведьма. Эта еще совсем не старая. Только раз, когда она купалась, заметили у нее хвостик. Химушка говорит ей: «Доня, что у тебя за хвостик?» – «Нет, ей-богу, нет, это не хвостик – это „косточка-природа“». Но кто же ей поверит? Все знают: ведьма. Химушка всех знает и после чтения жития святых нам про всех ведьм рассказывает.

Самая страшная ведьма живет в Пристене – Гашка Переродова. Та в месячную ночь сидит, притаившись под кручей над Донцом, и, если какой-нибудь малый зазеваается, она его – цап-царап и начнет щекотать. Щекочет, щекочет, может до смерти защекотать. А если жив останется, так после в чахотке помрет. Кашляет, кашляет и помрет. Да еще Гашка самых сильных выбирает. Алдаким Сапелкин попался ей, так еле живого нашли на заре, совсем и голос ослаб; долго хворал после этого; но этот поправился и жив остался.

Наши калмыцкие ребята знают, как их и бить, ведьм. В месячную ночь нарочно где-нибудь под кручей в яме сидят, притаившись, и ждут... Только заметят – в собачьем виде «огинается» около, сейчас ее в колья (у каждого дубина в руках). Только надо бить по тени. Если бить по ней, то есть по самой ведьме, промахнешься, а по тени – так сейчас завизжит бабьим голосом. Вася Батырев – силач; раз бросился и сгреб ее руками, повернул к месяцу, посмотрел в морду – видит совсем ясно: Гашка Переродова. Ну и били же ее! На другой день Гашка Переродова вышла по воду вся обвязанная и в синяках. «Что с тобой?» – спрашивает ее соседка. «С полати упала ночью...» А к вечеру все знали, с какой полати...

Только и Вася после зачах и долго спустя умер-таки в чахотке, а уж какой силач был!

Они богатые, Батыревы: свой постоялый двор, два дома больших и кухня на дворе; сарай кругом, как у нашей бабеньки.

А раз вот мы переполоху набрались! Маменька была в гостях у Бочаровых, у дяденьки Федора Степановича. Мы сидели на крыльце и рассказывали про страшное. Ночь месячная – хоть иголки рассыпай. Осина слегка шумит круглыми листьями, и на крыльце и на нас всех тени шевелятся от осины. Было уже поздно и тихо-тихо. Вдруг мы слышим голос маменьки и страшный стук в фортку. Мы все вздрогнули. Доняшка бросилась отворять. Видим: маменька, Яша Бочаров и дьячок Лука Наседкин. Они вскочили во двор и скорее захлопнули калитку, на засов задвинули.

За ними гналась всю дорогу ведьма в виде свиньи. Их ужас оковал. Они остановятся – и ведьма остановится, уставится и ждет. Они пойдут – она за ними. Они рысью – и ведьма рысью вслед за ними. Они едва переводили дух от страха и оттого, что так долго бежали... Зуб на зуб не попадал от страха – бледные!..

Ну, положим, Лука – трус, над ним смеялись, а Яша Бочаров уже большой был – готовился в юнкера, очень храбрый и очень красивый; волосы черные, курчавые, усики чуть-чуть пробивались. У него вся комната обвешана большими географическими картами, и он все учится, учится. Топограф Барановский его готовил в юнкера. Яша и по-французски говорить учился. Они благородные: дяденька Федя – капитан; фуражка с красным околышем и эполетки на плечах. Он – родной брат нашей маменьки.

А мы поселяне, и нас часто попрекают на улице, что мы поселяне, а сами одеваемся как паничи. Мне так стыдно по улице в праздник ходить в новом...

## VI

### Батенька

На другой день мы удивились. На дворе стояла кибитка, в сарае стояло много лошадей. Хорошие, большие лошади. Ночью приехал батенька.

– Гришка! – Я бросился к работнику. – Ты поедешь лошадей поить? Возьмешь меня с собой?

– Нет, нельзя, нельзя, – говорит Гришка. – Место незнакомое, и лошади строгие! Посмотри-ка вот за загородкой; видишь, какой вороной жеребец? На цепи!

– А ты не боишься? – спрашиваю я.

– Нам чего! Вот и Бориска не боится.

Вижу – новый работник Бориска, русский, сейчас видно; еще молодой малый, серьезный, рослый и красивое лицо: похож на одного извозчика, что обедал у нас еще на постоялом у бабеньки.

И вот они стали выводить лошадей по паре. На одну садятся верхом, а другую в поводу, в недоуздке держат; Гришка дал Бориске гнедого, а сам сел на вороного жеребца; губа прикручена, уздечка крепкая. Как заиграл, как завертелся по двору – страшно!.. Я поскорее вскочил на крыльцо и смотрел оттуда. Гришка вороного только поглаживал по гриве, ласкает, приговаривает: «Холя, холя!» Вороная шерсть блестит. Гривища до земли развеваются; на лбу белая звезда. Играл, играл по двору и успокоился. Гришка взял гнедого в повод и выехал со двора на Донец поить.

Бориска вывел пару серых. Какие красавцы!

– Вот лошади! Картины! – говорит Бориска. – А смирные как телята. Это, – он говорит, – рысаки.

– А мне нельзя с тобою?

– Нет, мальчик, нельзя! Чего-нибудь испугаются кони, бросятся, где мне с тобою возиться!..

Он повел их к скамейке около дровосеки и влез на одну, а другую повел в поводу.

И смирные же лошади! Чудо! А какие красавцы! В яблоках! И как это яблоки точно разрисованы: яблоки, яблоки. А копытца! Фу-ты! Как выступают! Вот красота!..

Как сказал Бориска?.. – Картины! Ах, какие картины! Хвосты длинные, пушистые, белые, как серебро. Неужели это наши лошади? Я долго смотрел им вслед, пока не скрылись под горку, к мелкому песчаному месту у Волового парка, где «рабочий батальон»<sup>19</sup> в казармах живет. Там и солдаты поят лошадей. Меня позвали пить чай.

---

<sup>19</sup> Рабочий батальон — батальон, сформированный из солдат для выполнения строительных и хозяйственных работ.



Батенька и маменька уже сидели за столом. Большой самовар кипел, стояли чашки, стаканы, молочник со сливками, кувшин с молоком, харьковские бублики и огромная харьковская булка.

– А, елѣха-воха! Илюха, где же ты бегаешь? Вот я вам привез – на дороге у зайца отнял.

Он дал мне нитку инжиру и погладил по голове. Я поцеловал его огромную руку. Батенька был в чистой рубахе и штанах тонкого сукна стального цвета. Он был чисто выбрит, желтые усы подкручены по-солдатски, и волосы гладко причесаны.

– А вот это что? – При этом он высоко поднял пару новых сапог с красными сафьяновыми отворотами. – Вот тебе! Наденька, не малы ли? Если малы, так их Ивану отдадим.

Иваном он называл моего младшего брата; Иванечка все хворал и едва ходил.

Я сейчас же сел на пол и надел – совсем впору. Я встал и почувствовал, что очень больно закололо что-то в пятке, но терпел. Хотел пробежаться – невозможно: что-то так и впивалось; я стал ходить на цыпочках.

Скоро мне дали чаю, и я примостился на деревянном диване около Усти.

– Что же ты кривишься? Что ты так поджимаешь ноги? – говорит Устя. – Тебе больно?

– Ничего, нисколько не поджимаю, и не больно, – говорю я с досадой, но сам уже едва удерживаюсь, чтобы не заплакать.

– Маменька, – говорит Устя, – должно быть, ему малы сапоги.

– Да нет, где малы! Я видела, он свободно надел их, – говорит маменька. – Да скажи, дают тебе сапоги? – спрашивает маменька.

– Да не-е-ет!..

И я заревел от досады.

– А постой, постой, – говорит батенька, – я знаю, что это: верно, гвозди в подборах? Ну-ка снимай.

Мне не хотелось снимать. Но мне их сняли и увидели, что у меня пятки в крови.

– Ха-ха-ха! – засмеялся батенька. – Как это он терпел! Смотри-ка, мать, даже гвоздики мокры от крови. Ну как же можно в них ходить!.. Ну погоди, я тебе сейчас их забью. Доняшка, принеси-ка скалку и молоток. Вот выпьем чаю и заколотим гвоздики. Ведь вот сукины сыны торговцы: так и продают, ну долго ли их забить?

Батенька много пил чаю: стаканы его становились все светлей и светлей, и совсем уже едва только желтенькая водичка, а он все пил.

Я очень люблю чай пить. Так весело, сливки вкусные, баранки и харьковские бублики так и тают, так и рассыпаются во рту. От пенок маслянистые круги идут звездочками в чашке и тают, и все сидят веселые и говорят разное.

Наконец батенька кончил, встал из-за стола, помолился Богу большим крестом, со вздохом.

– Ну-ка, ну-ка, Доняшка, скалка есть? Давай сюда! – Он ловко стал заворачивать голенища сапожек. Завернул. – Видишь, вон какие торчат! И как ты в них ходил? Елѣха-воха...

– А он будет на цыпочках ходить, – сказал Иванечка.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся батенька. – На цыпочках! Ха-ха-ха! Слышишь, мать, что Иван сказал, – Илюха будет на цыпочках ходить. Ха-ха-ха!

Он взял между колен скалку, зажал низ сапогами, положил большую медную деньги на скалку, надел на нее сапожок каблуком (подбором) вверх и молотком крепко стал колотить по гвоздям. Тут-тук, тук-тук!

– Ну-ка! Ага, ну вот все загнулись. На-ка, попробуй рукой, не колются?.. Дай-ка еще сюда, забью их хорошенько и отсюда.

Ну ладно, теперь надевай!.. Не будешь больше на цыпочках ходить. Так, так, Иван? На цыпочках? Ха-ха-ха!

Стук, стук, стук!..

Иванечка такой беленький. У него тонкий носик с маленьким горбиком. Он такой хорошенький, я его очень люблю...

– Пойдемте отцовскую кибитку посмотрим, – сказала нам маменька, и мы пошли за ней.

– Да что там смотреть? – сказал в раздумье батенька и остался на крыльце стоять, скучный-скучный.

Кибитка на высокой огромной телеге стояла среди двора. Маменька и меня посадила в кибитку.

– А как тут хорошо! Чистенько! – сказала Устя. – Посмотри, Илюша, какой узор вырезан внутри кибитки! И как блестит и переливается внутри мелкая резьба. Очень и очень хорошо.

Маменька стала открывать все ящики; сколько разных, задвинутых ловко, никто не найдет... В одном – недоеденный бублик.

– А это что?

Маменька вытащила великолепную трубку, отделанную серебром... и с цепочкой.

– Дайте посмотреть! Вот чудо! – лезу я к трубке.

– Поди, дурак, что тут смотреть эту гадость?!

Трубка сильно воняла табаком и пачкала руки коричневой липкостью. Маменька подняла трубку и показывает батеньке:

– А? Посмотри, бессовестный, – и стала очень сердита. – Пойдем же бросим ее в печку; бессовестный, не может отстать – греха набирается: курит эту гадость, и как ему не стыдно!

Батенька тихо стоял на крыльце; повернувшись несколько в сторону, он смотрел куда-то вдаль и ни слова не говорил...

У маменьки сдвинулись ее тонкие брови, она недовольно ворчала, помогла нам слезть с телеги, и мы пошли за ней. Неужели трубку сожгут? Какое серебро! Какой янтарный чубучок!.. Я еще не верил и не спускал глаз с трубки.

Маменька шла прямо в кухню. В глубине русской печки, за горшками, жарко горели дрова. Маменька быстро бросила трубку вместе с цепочкой и еще какими-то привесками вроде шильца.

– Маменька! Зачем? Дайте лучше мне! – вскричал я и готов был заплакать.

– Что ты это?! Что ты, курить гадючий табачище будешь?! Хорош курильщик! Посмотрите на него, люди добрые! Слышите: дайте лучше ему!

И она даже рассмеялась.

И только тут я понял, что, вероятно, трубка – большой грех... Но мне было жаль такой хорошей, дорогой вещи, и даже посмотреть не дали! Что за беда, что воняет и пачкает, ведь можно руки вымыть...

А я никогда не видал, чтобы батенька курил, он при нас никогда не курил.

## VII

### Барин-покупатель

Мы обедали на крыльце. Постлали чистое рядно; все сидели кругом, поджав ноги: кто сбоку, кто по-турецки, калачом. Мы всегда обедаем все вместе; и Гришка, и Доняшка, и Бориска обедают с нами. Только если гости, то работники едят особо, в кухне. Был борщ с бараниной, такой жирный, что как капнет капля на скатерть, то так и застынет шариком сала. Я очень люблю молочную кашу со сметаной, вареники с творогом тоже очень вкусны.

После обеда, когда работники ушли, батенька расхваливал Борису: и смирен, и уж работа, так поискать. А какая сила!

– На последней ярмарке один хохол в придачу за лошадь дал мне десять мешков овса, по пяти пудов мешок. Ну, пара лошадей – ничего, свезет, думаю... Еще на постоялом в Уразовой нам к столу на ужин положили вилки. Бориска, глядя на вилки, не мог удержаться от смеху и все подталкивает Гришку – на вилки чудно ему, будто мы господа какие. А наутро, еще на заре, дождь как из ведра полил! Как полил! Ну, выехали, еще пока песок – ничего, а как пошел чернозем – беда. Уж какой коренной в телеге, а и тот не берет. А как съехали вниз в балку к мостику, так там такая багнюка<sup>20</sup> расквасилась – лошадям по брюхо, телеге по ступицы – потоп, да и баста! Наша телега с кибиткой, набитая мешками с овсом, как влезла! По самое горло в грязь... Что ты, сядешь, будешь делать?! На первой телеге, порожнем с лошадьми, кое-как выбились – тройку припрягли, – а эта ни с места. Нечего делать! Бориска первый и надумал, что надо на руках перетаскивать мешки. «Ну-ка, Гришка, бери-ка, это тебе не вилки!» – и хохочет – опять вилки забыть не может. Взвалит мешок в пять пудов, как влезет по колено в грязь, а где и выше! Да ведь скоком, да еще все со смехом; смеялись и мы. Удивил нас. «Ну, бери, Гришка, это тебе не вилки!» Потрудились они здорово тут. На другой день едва отмылись от грязи, так залепила все, так поналезла везде – черная как деготь. Да, уж парень так парень! Вот такой-то, кадась, у меня жил Карпушка! Вот здоров был на работу! Бывало, крещенский мороз, а он на дворе в одной рубашке работает, от самого пар валит.

Под вечер приехал какой-то барин, помещик, посмотреть лошадей.

Батенька надел большой двубортный жилет такого же тонкого сукна стального цвета, как и брюки. А какие чудесные пуговицы были на жилете! Много-много пуговок в два ряда, и какие-то в них красненькие камешки, в золото оправленные, так и переливаются. Надел синий суконный длинный сюртук, а в свой картуз положил вчетверо свернутый красный носовой платок. Шею повязал шарфом и вышел на крыльцо.

– Здравствуй, Репка, – говорит веселым, звучным голосом пузатенький барин, в сером пальто, в шапке с кокардой и красным околышем.

– Здравствуйте, здравствуйте, ваше благородие.

– Я приехал к тебе лошадей посмотреть.

– Добро пожаловать, есть лошадки разные. Вам подо что? Какой меры? Какой масти?

– Да пойдем-ка, в сарае посмотрим.

– Пожалуйте, пожалуйста, и в сарай можно.

– Ого, серые-то, серые! – невольно восклицает барин. – Это пара? Рысистые? А ну-ка, нельзя ли их вывести показать, провести?

– Ну-ка, Гришка, – говорит отец, – надень новый недоуздок да вытри ему немного сбоку – обо что-то тернулся.

Гришка надел красивый недоуздок с красной покрывкой на лбу. Как вывели – чудо! Серый в яблоках загнул шею, храпнул на всю Осинку и как взмахнул в воздухе своим длинным серебряным густым хвостом и начал прыгать слегка – вот картина! Правду сказал Бориска!

– Э! Да он, кажется, из строгих? – говорит барин.

– Никак нет, – отвечает Гришка, – лошади смирные, как телята.

Сократил повод. Стал ласкать и похлопывать серого и взял его за пушистый чуб. Какие глаза открылись!.. Вот он повел ими вбок! Ай-ай-ай, какая красота!.. И смирный!..

– А в запряжке хорошо ходит?

– Не то что в запряжке, а имеет свидетельство и от завода графа Орлова-Чесменского, и на бегах призы брал в Харькове. Уж лошадь-то – и говорить не остается.

– А как цена? – спрашивает барин и как-то очень значительно посмотрел на батеньку сбоку.

<sup>20</sup> Багнюка – грязница (укр.).

– Да вот что, ваше благородие, чтобы нам лишнего не разговаривать, с одного слова скажу вам, так как вы сейчас у меня первый покупатель, и дай нам Бог дело сделать с вами. Чтобы не болтать пустяков, скажу вам сразу самую решительную цену, как одну копейку, – тысяча рублей... И то парой; врозь не продаю, а пара – две тысячи рублей.

Барин слегка засвистал, отвернулся немного в сторону.

– Гм... ну, это разговор далекий, это шутки. Шутник ты, Репка; я знаю: цена красная тому коню триста рублей.

– Эх, эх! – обиделся батенька. – Ну, он у меня, славу богу, не краденый. Гришка, веди лошадь в конюшню. Прощения просим, ваше благородие.

– Что ты, что ты! Какой дерзкий! Да ведь ты их продаешь? Надо же показать, провести и запрячь. Как он нынче зазнался! Разбогател! Ты знаешь? Солдат! Да как ты смеешь грубить!

– Помилуйте, ваше благородие, какая же тут грубость? С покупателями мы понимаем. Да ведь вы шутить изволите. Желаете – проведем. Гришка, пробеги с конем по двору рысью.

Ай-ай, как он выкидывает ногами! Как у него плечо ходит и что-то в животе закроало! Кро-кро! Кро-кро! Гришка два раза пробежался, и шаги лошади делались все шире и шире. Вот конек! Чудо!.. Чудо!.. Ах, вот картина!

– Да, уж каков бег, так и говорить не остается, – говорит растроганно батенька. – А запрягите-ка его в дрожки да по ровной дороге! Смотрите, длина лошади, а какая грудь! Между передними ногами человек пролезет легко да прямой пройдет. А копытища! Какая крепость! И изволили заметить, как он наружу подковку перед нами поворачивает? Какие статьи-лады! Без всяких пороков. Четыре года лошади, с окрайками...<sup>21</sup>

Батенька подошел к лошади, притянул к себе повод, смело полез в рот красавцу и оскалил ему зубы. Показывает барину.

– Не угодно ли взглянуть – вот они, окрайки. Уж лошади так лошади. Что тут толковать много... Я их к молдавскому визиру в «Букарешки» поведу – вот где продам.

– Ну да что же, – говорит барин, высоко подняв брови, – если и другой такой же, то за пару я, пожалуй, дам тебе тысячу рублей.

– Нет, ваше благородие, далеко нам торговаться. А мне вот как: если будете давать за пару тысячу девятьсот девяносто девять, так и то не отдам. Я вам, как первому покупателю, сразу сказал решительную цену. Вот как перед Богом святым.

– Нет, вижу, Репка, ты сегодня плотно поел, несговорчив. Я к тебе еще заеду.

– Милости просим: найдем и на вашу цену. У меня нынче выбор хороший. Шестнадцать лошадей в сараях стоят – есть и другие лошади.

За воротами стояла, позванивая бубенцами, пара бариновых: запряженные в тарантас вороненькие лошадки. Покатил.

– Ну-ка, Гришка, запряги мне в беговые дрожки этого серого – сбрую наборную... Илюха, хочешь со мной прокатиться? Только надо крепко мне за спину держаться.

– Ай, хочу, хочу! Буду держаться! Возьмите, батенька!

– Ну иди скорей, надевай хорошую рубашку и новые сапоги.

Мы сели. Я крепко уцепился за батеньку. Сначала шагом выехали из ворот. Вот шаг – ну совсем рысью идет. А как натянул батенька вожжи – как пошел он кидать нам землю и песок, даже рукам моим больно, так и сечет, и выглянуть нельзя из-за спины батеньки. Мигом взлетели на Гридину гору.

– А вот и барин, недалеко убежал от нас, – говорит батенька.

Вижу, барин пылит на своей паре и точно на одном месте топчется. Остановился. Батенька натянул вожжи, и в секунду нагнали мы барина.

---

<sup>21</sup> *Окрайки* – острые края зубов молодой лошади, которые с течением времени стачиваются. По степени их сточенности определяют возраст лошади.

– А, Репка, не думай, что ты меня обогнал: это я нарочно задержал, чтобы посмотреть рысь серого.

– Где же нам обогнать, ваше благородие! Прощения просим!

И батенька важно снял шапку, красный платок из нее выскочил, я едва успел схватить его – передал. Он надел шапку, взял опять потуже вожжи, и мы как вихрь понеслись. Я оглянулся: барин так же пылил и топтался на месте, совсем не двигаясь за нами.

Мы скоро пролетели выгон, Харьковскую улицу, я даже не успевал рассмотреть расписанных поселянских домиков – чудо как расписаны: большое фронтонное окно, широкий наличник и два окна внизу – все разными красочками и цветочками... Повернули по Никитинской, выехали к лавкам (богатые, дорогие лавки). Батенька здесь остановил, и мы почти шагом проезжали мимо купцов. Все они высыпали на нашего серого посмотреть. Я некоторых купцов знаю: они знакомы с батенькой. На ступеньках и за каменными балясинами – везде купцы и господа стояли и смотрели сверху на нас.

– Ефиму Василичу почтение! С приездом! – снял шапку Поспехов.

Кланялись Степаша Павлов, Коренев и другие.

– Ай да конь! И откуда вы такого привели? Это рысак, сейчас видно, – сказал Иван Коренев. – Рысак!

Батенька уже осторожно, чтобы не выронить красного платка, снял картуз и раскланялся с купцами.

Мы заворотили на Дворянскую улицу: тут все большие двухэтажные дома, некоторые с балконами. Окна открыты, везде видны красивые господа и барышни. Ах, какие красавицы, барышни! Как разодеты! Все в кисеях да в шелках и с цветными зонтиками на балконах сидят, с офицерами на французском языке разговаривают и показывают на нашего серого.

А он точно понимает, что на него глядят такие красивые господа, так и выступает, так и гарцует копытами и гривую трясет. Наборные кисти висят через оглобли и раскачиваются; вычищенные медные бляшки блестят на черных ремнях, горят и переливаются на серых яблоках белой шерсти.

Вдруг наш серый как заржал! И даже луна<sup>22</sup> за Донцом отозвалась.

Некоторые мальчишки-дворяне смотрят на него и удивляются, что мы едем на таком чудесном коне. Мне издали нравятся мальчишки-дворяне: они такие хорошенькие, чистенькие. Мне бы так хотелось с ними познакомиться! Но этого нельзя: мы поселяне.

Обогнали несколько подвод поселян – порожнем тархтели. Вот лошаденки! Точно телята или овцы: тюп-тюп-тюп-тюп – и ни с места.

Один шутник, бойкий парень, крикнул батеньке:

– Дядя, давай конями меняться?

– Цыгане будут смеяться, – ответил батенька.

– Сколько придачи дашь за моего гнедого мерина?

Отъехали.

– Вишь, – говорит батенька, – малый-то караготник. «Как зайде в карагот (хоровод), как лапоть об лапоть трахне, так искры и сыпя!»

– Стой, стой! – крикнул другой, навеселе был. – Сколько дашь придачи за мою кобылу? А?

(Кляча – кожа да кости, и с теленка ростом.)

– А этот, – говорит мне батенька, – щеголь-гуляка, что ни год – рубаха. А порткам и смены нет...

Мы их обдали пылью и быстро покатили...

---

<sup>22</sup> Луна – эхо (укр.).

– Стой, стой!.. Мы вас обгоним! – кричали пьяные; они изо всей мочи стали бить кто палкой, кто кнутом своих кляч.

Один вскочил стоймя в телеге, лупит изо всей силы лошаденку, орет: «Дого-о-ним! Не уйде-е-ешь! Держи их... Держи-и-и!» Но где же им?

Далеко остались...

## VIII

### В своем дворе

Взвизгнул, вскочив на дыбы,  
разъярившийся конь, —  
Грива горой; из ноздрей, как из печи,  
огонь.

*Жуковский. Рыцарь Роллон*

На другое утро, в пятницу, – в Чугуеве базарный день – спозаранку ворота в наш двор были отворены, и к нам везли с базара на волах высокие возы с сеном, а на конях возы меньше.

Посреди двора складывали громадный скирд сена: весь двор был засорен душистым сеном. Кроме того, везли еще, на волах же, возы с мешками овса, а некоторые возы поменьше также везли и на лошадях, маленьких поселянских клячах. Овес ссыпали в амбар, в закром. Освободив возы от клади, хозяева отпрягали лошадей, снимали ярма у волов и пристраивались к сторонке в ожидании расчета. Некоторые подкладывали скоту сенца, другие водили своих коней поить на Донец. Хохлы располагались под телегами и ели свиное сало с хлебом; нет, виноват, это по понедельникам свиное сало, а в пятницу ели тарань, которую долго надо было бить об телегу, чтобы она стала мягче и чтобы сухая кожа с чешуей отставала от твердого тонкого слоя мяса тарани.

Двор наш казался ярмаркой. Везде громко говорили люди, больше хохлы; мне их язык казался смешным, и, когда несколько «погепанных»<sup>23</sup> хохлов говорили громко и скоро, я почти ничего не понимал. Из разных деревень были люди: из Малиновки – это близко, а были хохлы из Шелудковки, из Мохначей, из Гракова, из Коробочкиной, наши русские – из Большой Бабки и других сел.

Батенька ездил на базар на высоком рыжем мерине – смирная лошадь, – в плетеной натычанке<sup>24</sup>; надо было кое-что «взять» с базара из провизии.

Приехав домой, он проверил возы и, пока складывали скирды сена и ссыпали овес, пил чай. Мы уже все напились раньше: с базара он всегда опаздывал.

Наконец батенька вышел на крыльцо с табуреткой и счетами в руках. Ему принесли стул, и еще один стул для маменьки.

– Мать, а мать! Записка у тебя? Иди-бо! Ну-ка читай, а я буду на счетах считать.

Маменька стала читать по его записке.

– Три воза из Гракова, воловых – девять рублей.

– Да, это хорошее сенцо, пырей чистый, степное: так, девять рублей.

Щелк, щелк.

---

<sup>23</sup> Погепанные – ушибленные (укр.).

<sup>24</sup> Натычанка – легкая бричка с плетеным кузовом.

– Один воз конский – один рубль двадцать копеек.

– А это из Мохначей, луговое, – дрянцо; ну да сойдет теперь и это, мешать будем.

– Из Коробочкиной – пять возов по два рубля семь гривен. Из Шелудковки – четыре воза конских по рублю тридцать копеек.

– Ага, хорошие возы – парные – пять рублей двадцать копеек.

Щелк, шелк, щелк, щелк.

Некоторые собственники подошли к самому крыльцу, сели внизу ждать расчета по очереди, а другие просили рассчитать их, отпустить: они были издалека – из-под Гнилицы.

– Сейчас, сейчас. Посидите, подождите, – говорил батенька. – По два сорок, по два сорок...

– Семь рублей двадцать копеек, – помогает маменька.

Батенька вынимает, отстегнув жилетку, туго набитый деньгами засаленный бумажник. Бумажки разные – старые, разорванные, склеенные. И все одна к другой: вот синеватые, вот розоватые, и беленькие есть, только все грязные, рваные и лохматые.

– Ну-ка, мать, достань из сундука, принеси сюда рубли для расчета и мелочь.

Маменька принесла длинный-длинный кошель вроде колбасы или чулка, набитый серебряными рублями, только ребра заметны.

Стали рассчитываться.

– Ну, граковцы, – говорит батенька, – вам девять рублей, вот вам двум по трешнице, а тебе три серебряных карбованца.

На табуретке лежала кучка серебра.

Рубли были разные: некоторые были стерты и блестели, некоторые с крестами, а другие старые, с орлами и с Петром I. А были большие, которые стоили полтора рубля; их называли талерами.

Уже довольно долго шел расчет. Некоторые хохлы медлительно и недоверчиво считали свои деньги. Один не брал пятирублевый с оторванным и приклеенным уголком, а другой никак не мог сосчитать семь гривен серебром и медью, все жаловался, что ему недодали. Некоторые уже начали запрягать своих коней и выезжать со двора.

И вот один мужичок, свалив свои два мешка в амбар, распряг кобылу, привязал у дверей сарая и пошел напиться воды. Кобыленка-кляча запарилась и вся закурчавилась, пока довезла свой воз. Увидел ее вороной жеребец, что стоял за перегородкой на цепи. Захрапел, заржал и так рванулся к этой кобыленке, что вырвал вместе с цепью и кол от яслей, на который крепко наматывалась цепь, перепрыгнул через перилину и сломал жердь. Кобыленка споткнулась об оглобли, смялась под телегу. Жеребец черными огромными копытами попал в тележку и перекувырнул ее всю – она затрещала и полетела кубарем... Грива длинная горой развеивается. Хвост жеребец поставил как знамя и махал им на весь двор. Он стал носиться по всему двору между людьми, ярмами и телегами. Некоторые люди попадали со страху, попрятались под телеги; некоторых зашиб он до крови, а сам носится, храпит, ржет... Сила!.. Страсть! Наконец люди, кто посмелей, схватились за колья, чтобы наступать на чудовище.

Черное блестящее чудовище, с цепью на шее и колом, прыгает через телеги, звенит цепью, а кол скачет, того и гляди, заденет кого-нибудь. Взметнулись дико волы, завизжали, ошалев, лошади. Дым коромыслом! Заржали лошади в конюшне.

– Стойте! Стойте! – кричит батенька с крыльца. – Разве так можно?! Что вы делаете? Бросьте колья!

Мужики с кольями от страху бросились в стороны: кто на тын, кто на сарай, кто на крыльцо.

Батенька бросил все деньги и побежал к жеребцу...

В это время Гришка уже бежал за жеребцом, поймал кол и ухватился за него, передвинулся к цепи, поближе к морде страшилища. С другой стороны Бориска бросился и схватил



коня под уздцы. Гришка уже сидел на черном дьяволе, перекинул ему цепь на морду и ударил его кулаком по макушке. Жеребец даже присел и шатнулся...

– Ах ты, сукин сын!.. – кричит с досадой батенька. – А если бы тебя так?! Ведь так можно убить жеребца!..

Он подошел и взял за ноздри чудовище – вот бесстрашный! Из ноздрей пар и огонь. Глаза на черной голове белыми белками косили страшно. Как это батенька не боится?..

– Разве он виноват! Ишь какой колышек пристроили! Это вам не теленок в хлеву.

Вдруг жеребец опять заметил кобылу, заржал и так рванулся в ее сторону, что его едва-едва не выпустили. Но Гришка круто повернул его назад к воротам – цепь в морду врезалась.

– Ах ты, боже мой! Вот люди! Как малые дети – не понимают!.. Да что же ты не уведешь свою кобылу со двора? – в досаде кричит батенька на собственника кобылы.

А тот, бедняга, стоял перед своей разбитой телегой как помешанный и не знал, что делать; другой шел к нему на подмогу с разбитой рукой: из пальца лила кровь.

– Ах ты господи! – кричит батенька. – Ну уж проезжайте, Гришка и Бориска, с жеребцом, проведите его немного по улице, пока эти с телегой и кобылой уберутся.

Прошу вас, любезные, – упрашивает батенька, – у кого кобылы, отведите их вон туда, за сарай, дайте жеребца провести и поставить на место.

И он пошел на крыльцо, где маменька в страхе ждала, чем кончится эта суматоха.

– А! Хай йому халепа! О це як би знав! Та ні за що не поїхав би у цей двір<sup>25</sup>, – говорит отчаянно хохол.

Стали опять считать и продолжать расчет.

Наконец жеребца торжественно провели на его место и долго там возились; укрепили бревна для цепей и загородили его так, чтобы уже не выпускать; и воду и корм ему носили в стойло.

В конце расчета все потерпевшие от буйства жеребца подошли к крыльцу, обиженные и сердитые.

Коробчане были на первом плане, покашливают, жмутся.

– Мы не причинны, хозяин, ты должен заплатить нам убытки.

– Да какие же у вас убытки? – говорит в досаде батенька. – Боже мой милостивый! Ведь вы расчет получили?

– Как же, хозяин: этому телегу разбили, тому палец перешиб, а вон этот до синяков головою об оглоблю брякнулся – надо заплатить. Мы так не уедем со двора.

– Вот уж и платить? Да постойте, коли такое дело; телегу мы тебе сейчас починим. Гришка! Борис! Сколотите ему его телегу: там, я видел, только одна люшня<sup>26</sup> вчистую сломана; поди, Бориска, вон там из кольев приделай ему пока новую люшню. А тебе палец сейчас перевяжут. Вот как бывало в походах. Мать, промойте ему палец чистой водой да завяжите чистой тряпочкой... Елѣха-воха! Воины-служаки, по семи пар сапог у вас дома. А вот мы служили – семеро в одном сапоге ходили.

И он их обвел веселыми глазами.

Потерпевшие рассмеялись слегка; выступил один знакомый из отставных, сослуживец отца:

– Уж ты, Ихим Василич, дай-ка нам по кварту, мы и разопьем за твоё здоровье.

– Ах! Елѣха-воха! Ну уж будь по-вашему. Мать, достань им сорок копеек, нехай они зеньки залыют.

<sup>25</sup> А! Черт его забери! Знал бы я только! Да ни за что не поехал бы в этот двор (укр.).

<sup>26</sup> Люшня (лушня) – кривой кусок дерева; верхним концом он упирается в верхнюю связь телеги, а нижний его конец надевают на ось.

– Ну вот и прощенья просим! Привозить ли к будущему базару сено, овес? – кричит весело удаляющаяся куча.

– Везите, везите, корму в городе много надо; не я, так другой заберет.

Понемногу разошлись, уехали.

– Ах ты господи! – говорит сквозь слезы досады маменька. – И зачем ты этого ирода, прости господи, привел сюда? Ведь это ж... страсть-то какая! Смерть...

– Да, вот с вами бы на печке сидел да картошку с маслом ел! Только была ли бы у нас картошка? Ась? То-то, – говорит внушительно батенька. – Это конь заказной, производитель. Это на завод графу Гендрикову поведем. Вот управимся немного, и надо вести.

Гришку этот конь знал и любил, так и следил за ним глазами. А на других, кто еще издали к загородке подходит, храпит, поворачивается. Теперь Гришка ему и цепь снял; крепко загордили его в стойле, высокие стены поставили – не перескочить. Доняшка говорит: оттого и смирен с ними вороной, что Гришка его кормит и поит, – это всегда.

Гришка всегда добрый и веселый – без забот.

«Жили бедно – да й будя; носили сумки – теперь две. То жили-горевали – ходить не в чем; теперь Господь привел – надеть нечего». И поет себе свою любимую:

Ой, дождик, дождик!  
Да не силен, не дробен,  
Да не ситечком сея —  
Ведром поливая.  
Брат по сеням ходя,  
Сестру потешая:  
«Сестрица меньшая,  
Да расти ж ты большая,  
Я отдам тебя замуж  
Да в чужую деревню.  
Да в чужую деревню,  
Да в согласную семью».

Любит он смеяться над Доняшкой. Начнет:

– Не любишь мене? Уж погоди, пойду к кузнецу, закажу ему любжу, тогда не будешь от меня рыло отворачивать. Смеешься? Погоди, не до смеха тебе будет... рыжая.

– Ы-ы!.. Стогнидый... – злится Доняшка.

– Что? Некогда? Иди, иди. У вас дело кишить – бураки крошить, поп к обедни звоня, пастух стадо гоня... А тут еще ребенок у...

## IX

### «Матеря»

Голос за дверью:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

– Аминь, – отвечает маменька.

Входит бабушка Егупьевна. Она всегда входит, сотворив молитву. Так же входили и все осиновцы, так же входили и горожане, только прочие творили молитву еще за дверью. Если

какая-нибудь девочка или кто по делу, то, после того как в ответ услышится слово «аминь», говорят (девочка тонким певучим голоском): «Тетенька, выйдите-ка сюда!»

Вот бабушка Егупьевна прежде всего становится перед образами. Сотворив несколько поясных поклонов, крестясь большим двуперстным крестом, она обращается в сторону маменьки и начинает величать всю семью, сначала от старших. Так же входили и странница Анюта, и Химушка, и тетка Палага, и все соседи и знакомые.

– Здравствуйте, Ефим Васильевич, – (хотя бы его и не было дома), – Татьяна Степановна, Устинья Ефимовна, Илья Ефимович, Иван Ефимович, Авдотья Тимофеевна, – (Доняшка-работница). – Живы ли все, здоровы? Как вас Господь милует?

– Здравствуйте, здравствуйте, Егупьевна, – говорит маменька.

А мы, присутствующие дети, должны были подойти к бабушке «ручку бить». То есть бабушка протянет нам руку ладонью вверх, а нам по руке ее надо было шлепнуть слегка своей ладонью и затем поднести к губам и поцеловать бабушкину руку. Такой же этикет соблюдался со всеми приходящими старшими и родственниками.

Скоро Егупьевна с маменькой усаживались в сторонку и заводили свой таинственный разговор.

– Что ты! Что ты, Таня! Так он в солдатах развратился?! Трубчищу куре!.. – Егупьевна в большом непритворном ужасе всплеснула руками, открыла всегда опущенное, закутанное в белую косынку лицо; показались огромные светлые глаза на бледном лице, и даже сверкнули слезы на глазах. – Ай-ай-ай, страсть-то ж какая! Это надо его уговорить, надо помолиться за него... Ужли ж он о своей душе не жалеет?

Все это говорилось таинственно и так выразительно, что и у маменьки капали слезы, и я едва держался, чтобы не заплакать...

– Ты знаешь, Таня, что за эту мерзость ему буде на том свете? С кем он осудится!..

Маменька только тяжело вздохнула.

– А что будет, бабушка? – невольно спросил я.

– Ну, поди, мальчик, ты еще мал, чтобы это знать, после узнаешь. Молись за твоего отца, чтобы Бог его избавил от этого греха, чтобы он свою трубчищу бросил курить.

Бабушка и чай считала грехом, и с нами ей нельзя было обедать: мы «суетные». Ей надо было наливать в особую чашку, из которой никто не ел, и ложку так и держали только для староверов. Нашими ложками им нельзя есть: грех.

Я вспомнил, что уже несколько дней не молился в своем местечке; надо непременно пойти и хорошенько помолиться: может быть, и я буду святым? И мне как-то страшно стало от этой мысли.

Егупьевна стала рассказывать маменьке про «Матерей». «Матерями» назывался монастырь, где жили староверские девы и женщины. Мы туда раз ходили с Доняшкой в воскресенье. Это далеко, в Пристене. Как у них чисто, хорошо; пахнет душистой травой; а кругом образа – образа старинные, темные лики, страшные. Прямо против входа – большой высокий иконостас. Это их церковь; по стенам скамейки, и на скамейках сидят, когда нет службы, все больше женщины, девочки, а некоторые сидели на полу, на пахучем чоборе и другой траве, разбросанной на полу.

Батеньку недавно опять угнали в солдаты.

Он часто рассказывал, когда был дома, как трудно служить: скомандуют – и тяжелый палаш наголо надо держать в вытянутой руке. Долго-долго, пока не скомандуют другой команды; рука застынет, задеревенеет, а ты стой, не шевельнись; все жилы повытянут...

– А верхом, бывало, в манеже – траверс, ранверс... ломают, ломают! И лупили же! Всех лупили: не брезговали и семейными, и почтенными людьми. Казьмин, бывало, никак не может верхом просто сидеть, отвалился; все грудь колесом выпрет вперед... а надо сидеть как в стуле. Солдат красивый, видный; полковнику Башкирцеву так хотелось выучить его на ординарца; уж

его и так и этак... да ведь как били, боже мой милостивый! Посадят, бывало, лицом к хвосту лошади; лошади белые, подъемные, вершков восьми; мужчина он огромный, как шлепнется... Уж и поиздевались же над ним! А ведь отец семейства: три сына, два женатых. Что ты поделаешь! Уж на что какой здоровый, силач, а все в госпитале валялся... Ах, уж и лошадки белые, прости господи, дались нам, знать: долго ли ей запятнаться в сарае? Чуть приляжет, и готово, а поди-ка ототри это желтое пятно! Надо кипятком отпаривать.

## Х

### Ростки искусства

Без батеньки мы осиротели. Его «угнали» далеко; у нас было и бедно, и скучно, и мне часто хотелось есть. Очень вкусен был черный хлеб с крупной серой солью, но и его давали понемногу.

Мы всё беднели.

О батеньке ни слуху ни духу; солдатом мы его только один раз видели в серой солдатской шинели; он был жалкий, отчужденный от всех. Маменька теперь все плачет и работает разное шитье. Устя, Иванечка и я никак не можем согреться, нас трясет лихорадка. Хотя у нас на всех окнах и дверях прилеплены сверху записочки, что нас «дома нет», но лихорадка не верит и непременно кого-нибудь из нас трясет, а иногда и всех троих вместе. Недавно заезжала тетка Палага Ветчинчиха, и маменька с нею так наплакалась: батеньку с другими солдатами угнали далеко, в Киев, он там служит уже в нестроевых ротах; там же и деверь тетки Палаги; она все знала о солдатах.

С утра мне бывает лучше, и я тогда принимаюсь за своего коня. Я давно уже связываю его из палок, тряпок и дощечек, и он уже стоит на трех ногах. Как прикручу четвертую ногу, так и примусь за голову, шею я уже вывел и загнул – конь будет «загинастый».

Маменька шьет шубы осиноским бабам, на заячьих мехах, и у нас пахнет мехом; а ночью мы укрываемся большими заячьими, сшитыми вместе (их так и покупают) мехами. Спать под ними даже жарко.

Я подбираю на полу обрезки меха для моего коня; из них делаю уши, гриву, а на хвост мне обещали принести, как только будут подстригать лошадей у дяди Ильи, настоящих волос из лошадиного хвоста.

Мой конь большой, я могу сесть на него верхом; конечно, надо осторожно, чтобы ноги не разъехались: еще не крепко прикручены. Я так люблю лошадей и все гляжу на них, когда вижу их на улице. Из чего бы это сделать такую лошадку, чтобы она была похожа на живую? Кто-то сказал – из воску. Я выпросил у маменьки кусочек воску – на него наматывались нитки. Как хорошо выходит головка лошади из воску! И уши, и ноздри, и глаза – все можно сделать тонкой палочкой; надо только прятать лошадку, чтобы кто не сломал: воск нежный.

К маменьке помощницами поступили две девки-соседки: Пашка Полякова и Ольга Костромитинова. Они так удивлялись моей лошадиной головке и не верили, что это я сам слепил.

Ольгу я не люблю: она высокая-высокая и все смеется, смеется каждому слову. Сейчас, как придет, поднимет меня к самому потолку. Страшно делается, а потом лезет целоваться: «Жених мой, жених!» Ну какой я ей жених? Я начинаю ее бить и царапать даже. А она все гогочет, с каждым словом ее все больше смех разбирает.

А Паша умная и всегда серьезно смотрит, что я делаю. Но вот беда – ноги лошадок никак не могут долго продержаться, чтобы стоять: согнутся и сломаются. Паша принесла мне

кусок дроту (проволоки) и посоветовала на проволоках укрепить ножки. Отлично! Потом я стал выпрашивать себе огарки восковых свечей от образов, и у меня уже сделаны целых две лошадки. А сестра Устя стала вырезать из бумаги корову, свинью; я стал вырезать лошадей, и мы налепливали их на стекла окон.

По праздникам мальчишки и проходящие мимо даже взрослые люди останавливались у наших окон и подолгу рассматривали наших животных.

Я наловчился вырезать уже быстро. Начав с копыта задней ноги, я вырезывал всю лошадь; оставлял я бумагу только для гривы и хвоста – кусок и после мелко, вроде волосков, разрезывал и подкручивал ножницами пышные хвосты и гривы у моих «загинастых» лошадей. Усте больше удавались люди: мальчишки, девчонки и бабы в шубах. К нашим окнам так и шли.

Кто ни проходил мимо, даже через дорогу переходили к нам посмотреть, над чем это соседи так смеются и на что указывают пальцами. А мы-то хохочем, стараемся и все прибавляем новые вырезки.

И вот нехитрое начало моей художественной деятельности. Она была не только народна, но даже детски простонародна. И Осиновка твердо утаптывала почву перед нашими окнами, засыпая ее шелухой от подсолнухов.

Я вырезывал только лошадей и не завидовал Усте, когда она очень хорошо стала вырезать и коров, и свиней, и кур, и уток, и даже индюков, чем особенно восхищалась наша публика, увидев под носом индюка его атрибуты.

На рождественские праздники к нам отпустили нашего двоюродного брата, сироту Троньку (Трофим). Он работал мальчиком в мастерской у Касьянова, моего крестного, портного для «господ военных».

Троша принес с собою рисунки, изображающие Полкана<sup>27</sup>, и я очень удивился, как он хорошо рисует. Под каждым рисунком он старательно подписывал название: «Полкан» – и свою фамилию: Трофим Чаплыгин. У него была огромная голова, коротко остриженная. Он знал много сказок, таких занятных, что мы не могли оторваться, все слушали: «Струб-металл – Запечная Искра», «Зеленый» и особенно про царя Самосуда, как заспорили охотник и билетный солдат. Один говорил: «Песня – правда, а сказка – брехня», а другой: «Сказка – правда, а песня – брехня». Долго препирались охотник с солдатом, пока не дошли до дворца царя Самосуда. И царь Самосуд, усадив их по правую и левую руку, длинной историей объяснил им, кто прав.

Трофим и при нас вдруг нарисовал еще Полкана: чирк, чирк, все точками и черточками; потом аккуратно складывал вчетверо своих Полканов и прятал их в шапку на дно. Рисунки его были очень похожи один на другой, и нам показалось, что и Тронька, наш двоюродный, – сам Полкан; особенно его большой лоб и черные глазки, глубоко подо лбом, и короткие волосы, щеткой покрывавшие его круглую голову, были совсем похожи на рисованных им Полканов; каждый Полкан держал булаву. На другой день Трофим из плоской коробочки, завернутой в несколько бумажек, достал краски и кисточки. В городе в их мастерскую приходит много разных людей; аптекарь принес Трофиму краски и кисточку. В аптеке краски сами делают. Трофим знал названия всем этим краскам: желтая – *гумми-гуд*,

---

<sup>27</sup> Полкан – герой русских былин, богатырь с песьей головой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.